

Павел ГАВРИЛОВ

СУДЬБЫ ВОЙНЫ

Досточтимому дяде Юрию Фёдоровичу Пашкову
и Великой Победе посвящается.

*...Утихнут грозные невзгоды.
Своих врагов Россия победит.
И имя русского, великого народа
Как гром по всей вселенной прогремит!*
прп. Серафим Вырицкий

I

Шумели степи ветрами. Колосилась рожь, пшеница кланялась небу плакучими веерами перекатами, росла скупно, и в этом сорок первом году ключьями полей, плешами полянами.

Мало зрело хлеба на Кубанской земле, выжженной лихолетьями. Да и где ж его в избытке нынче взять то.

«Исчахло плодородное поле без русского хозяина, заросло чертополохом». – Чесал, свой короткий затылок, подумывая, разглядывая верхушки ободранного орешника, косматый казак, рассевшись у пенька в овраге, оглядываясь за ручей в сторону станицы, оценивая обстановку. Принимает на ум природный, воздыхает, смиренствует и незлобится. Глаза впалые, ухо

правое щекочет карандашиком:

«Весь хлеб, что нарождался, в центр с двадцатых отдавали, свозили его галдящие бабы и старики на разбитых телегах, из запустелых обокраденных станиц новым хозяевам страны. В степях, у морей, не то что хлеба, винограду, яблоневого садов, – народу казачьего не осталось. Человека согнувшего, прежнего духа, не сыщешь днём с огнём. Прежнего уклада казак-человек редкость, настоящая реликвия, чудо-человик, а если где и затаился, затёрся, остался, не помер, не сломался, выжил – то статейный, под надзором, на учёте...» – Рассуждал казак-кулак, сочиняя жалостливое письмишко в деревню к столетнему двоюродному деду в Оренбург.

Павел Анатольевич ГАВРИЛОВ родился в 1967 году в городе Миассе Челябинской области. Окончил Краснодарский гос. институт культуры. Музеевед. Занимается литературным творчеством. Работал заместителем главного редактора журнала «Родная Кубань». С 2017 года служит в «Кубанском казачьем хоре» летописцем, исследователем истории хора.

Живет в Краснодаре.

«Силой что не сделаешь. Шептались на пастьбе, на полустанке, мол, в двадцатых в Москве два миллиона сирот на улицы вышло. Два миллиона. А родители? А по России? Двадцать четыре года народного сопротивления, и края не видно. Многие так думали.

Поиздержалась Имперская хлебосольная Казачья Кубань. Не по своей воле. По требованиям подразверстки, иначе будь здоров – и штык. Не церемонились, чуть огрех, так контрреволюция, а ну стоять, иди сюда, ... на север... – По закону власти рабочих и крестьян. Что ж делать, дедушка?» Вот так и дотянули до сороковых.

Шёл как-то на заре опухший русский человек из Елизаветинской в город, в истёртых портах, в серой неприглядной рубаше, тащил одной рукой на тележке свежую сочную зелень – надобно продать, чтоб прокормиться, зима выдалась снежной, голодной.

Рядом прыгали в лёгких платьицах две девчушки конопатые, дочки Кондрата.

– Дай, тятя, я покачу, – ручонками тянулась младшая.

– Нет, пискунья, мала ещё. Поди, вот прямо полянка, лучше цветочков нарви и догоняй.

– Тятя, а мне дай, – толкала поручню Таечка, старшая.

– Ну, ты-то подержись, да под колеса ножками не забежай. Что бежишь-то впереди, раз напросилась, иди рядышком.

Семья Кондрата Кочубея шла не по шоссе, а по обочине просёлочной, что рядом. Щебетали птички, весело играя в утренних лучах, занырявая в сочную листву дерев живенькой стайкой.

Солнце на Кубани, как и прежде при меотах, при тьмутараканцах, во время славянских князей

или греках, к десяти уже горячее, жжет, полыхает. Навстречу бежали молодые ребята вчетвером, трое взбалмошных огольцов и белая, словно хлопок, щуплая махоночка.

– Война, дядь, война. Немец на Россию напал, – кричал кучерявый босой малый.

– Какая война, солнышко же шает, глянь – жизнь, мы на базар?! А ты – война. Как война, детки мои? – Опешил Кондрат, прижимая дочурок к сердцу. Что он мог сейчас представить, почувствовать? Задрожало его сердце, подкосились ноги у казака?

По небу серыми густыми вполлохами проревели четыре самолёта.

– Папка, папка, а что такое война? – увидевшие на лице отца строгость и тревогу затрезвонили дети.

– Идёмте живее, лапушки, в городе всё узнаем. Худо дело, дитятки, – война, горе. Господи за что?

Уж остался позади путь, пришли в ошеломлённый город, всюду на перекрёстках, у Сенного базара открытые темно-зелёные кражистые полуторки, рядом стоят с планшетами худые люди в военной форме, в фуражках.

«На войну! Бить врага!» – виднелись кособокие, красные, наспех сбитые плакаты. Молодые люди, старики с храбрыми лицами уже записывались у командиров.

На базаре сутолока, бабий шум, гам.

К обеду Кондрат вполцены отдал лук, укропчик, посадил девочек в тележку и побежал к родным. На фронт его не взяли, калека ещё с гражданской бойни, сгодился в совхозе.

– Мы большой семьёй с мамой жили на Кирова, помню, внучка,

вот такую историю. Как-то с сестрой, встав пораньше летом, чистили обувь да варили картошку, к нам пришли родственники и говорят маме, что в Яблоновке убили её брата, банщика. Сразу переполох, мы, отпросившись, побежали узнать, детей тогда через железку немцы пропускали за реку по полуобвалившемуся, дряхлому мосту, – вспоминала войну бабушка Елизавета Исидоровна Литвинова.

Шёл сорок третий год, лето. Дети вышли на грязную улицу, на мостовую. Придорожная пыль на проспекте от пролившегося дождя смешалась в черную грязь. Старые газеты, пакеты валялись повсюду в беспорядке, стоял хмурый день. Город в плену, под оккупацией немцев. Главные казачьи здания бывшего Екатеринодара были заселены немецкой управой, на улице Горького в большом здании прижилось GESTAPO.

– Ахтунг, Achtung! – кричали немцы, чёрными автоматами тыча кому в грудь, другому в плечи, погоняли в спины женщин, мужчин.

Фрицы образовали цепь, а сестрички Литвиновы крадучись шли недалеко от старого базара. Видят: перед ними на столбе висит повешенный в лохмотьях с синим лицом, на худой груди табличка: «Я был партизаном».

А дальше, там, где вчера на угол Гоголя и Красноармейской прилетела бомба и оглушительным взрывом разбило по третий этаж часть дома, видны в мелкий уголь обсыпавшийся остов черных, обрушенных стен, разбросанные по улице остатки обгоревшей, разломанной мебели. Туда, к этому месту сгоняли сопротивляющихся краснодарцев.

– Schnele, шнэля! – кричал высокий, похожий на страуса рыжий

фриц. Народное смятение, страх обуял улицу, передавался он и детским душам.

– Катя, мы туда не пойдем, давай в обход, мама будет ругаться, побежим к ларькам, а там через старые амбары у реки добежим до моста, – сказала щупленькая Лизонька, она держала крепко сестричку за ручку и смотрела на неё преданными глазами, лет-то ей было уже десять. Они подошли к магазинам, и вдруг перед ними, над их головками встал коричневой горой немец. Дети посмотрели на него, а чужак, заграбастав их длинной рукой, силой отшвырнул за себя, в узкий тёмный пролет между выцветшими синими фанерными ларьями и стеной. Девочки ударились об гнилые коробки, сырость, вонь и кислятина полезли в глаза, защипало в носу, они испугались и присели. Вдруг сестрёнки, опомнившись, увидели в щели, что немцев прибыло ещё две большие машины, из которых они выпрыгивали и подбегали к горожанам. Немцы гавкали: «Arbeiten, русиш швайн, арбайт комен, комен, орали и силой пригибали к земле пытавшихся вырваться пойманных женщин. Ударили одному русскому прикладом в плечо, тыкали многих палками. Загоняли людей под дулом автоматов в серые машины.

– Лизочка, побежали к реке, – очнулась Катя. И они уже сверкали пятками, наступая на что-то жидкое, бежали без оглядки по коридору к просвету.

«Вот ещё минутка, и мы у леса, а что будет с мамой?» – думала и волновалась Лиза.

– Пойдём скорее в камыши, Катенька, я боюсь, – всё видевшая Лиза дёрнула за платышко сестрёнку. Они выбежали в район Гимназической и пустились наутёк

через густую траву, в сторону Кубани, страх охватил детские сердца.

– Лизочка, крестись, беги и молись, как бабушка учила.

Быстро сестрички добрались до речки. Справа незнакомые люди в черном жгли костёр.

– Нет, пойдём на наше место,

на запруду к ивушке, где дядя Гриша всегда рыбачит, – скомандовала опомнившаяся Катенька, старшая. Дошли до кустарника, присели, дождались ночи и тёмными тропами крадучись, под мигающими звездами прибежали к маме домой.

II

Попал в машину и Кондрат, люди, испуганные и ошарашенные, выглядывая за борт, всё кричали друг другу: «Нас куда грузят, зачем?» Давка, волнение и тьма в сердцах.

– Маша, давай убежим, – шепнул сильный парень, спрыгнув на землю, потянул руками невесту в кружевном платье.

– Ой, лови меня, – Маша прыгнула к Николаю на грудь, он словно крылами её приземлил и бежать. Не успели молодые сделать и четырёх шагов, прыгнувшие к ним четыре офицера в куртках волчьего цвета, тяжелыми ударами в голову уложили парня наземь.

– Не трожьте его, – с кулаками бросилась на обидчиков девушка. На Машу спустили чёрную псину, с горящими красными глазами лающая овчарка повалила лапами щуплую девушку. Мария ударилась боком, сжалась в комок, стала отбиваться. Вырвавшийся от ударов Колька бросился на помощь, но выстрел в ногу опрокинул пар-

ня к её коленам. Пёс кусал, драл девчонке подол, с белых её бёдер сочилась кровь. Машу дернули за волосы и подтащили к грузовику. Крикнув: «Арбайт, шнэля», – впихнули к охающим и ругающимся возмущённым людям. Так же немцы поступили с раненым Колей.

Молодые, истекая кровью, сели на металлические прутья решетки и прижались друг к другу.

– Не плачь, милая, вырвемся, помолись, моя голубушка.

Недовольные крики, давка заглушали всхлипывание трёх девочек, совсем юных, студенток медицинского училища. Немцы затолкали ещё двоих грузных, с обвислыми усищами бурчащих седых стариков, закрыли заднюю створку и кричали в толпу.

Происходящая картина, видимая с прилегающих улочек, с верхних этажей, вызывала сострадание бессильное в помощи, видна ярость немцев и боль людская унижений.

* * *

На следующее утро весь город гудел. Плакали бабы, шумели старики, что-то обсуждали, бухтели, искоса поглядывали на разъезжающих и повсюду снующих оккупантов. Вечером Надежда Лукьяновна Литвинова, потерявшая мужа в ноябре 1940 года, тихо молилась и причитала:

– Деточки, знали бы вы, от смерти вчера вы убежали, Господь вас уберёт. Людей, которых сгоняли, немцы газами всех отравили. Вон они там – она махнула сиреневым платком в сторону кладбища. – Во рвах противотанковых, которые вы прошлым годом копали, они все там брошенные. Люди

гутарют – «...и стоны из глубин раздаются». Один выжил и рассказал на Сенном, народ уж к обеду спохватился своих.

...Длинные фургоны были покрыты оцинкованным железом, гвозди, торча изнутри на перекладинах и в перекрестиях, от давки царапали, прорезали кому плечи, кому руки.

Мотор затарахтел, взревел диким зверем под ногами, ворвался синий дым, и через минуту вся будка автомашины, где находились страдальцы, наполнилась едким удушливым газом.

Кондрат смекнул, что ему не выжить, протолкнулся к углу, протискиваясь между обнимающих друг друга кашляющих, задыхающихся земляков. Протиснулся к щелке, встал на колени, наклонив свою дородную голову к расщелине и вытянув губы к ниточке света, быстро скинул рубаху, расстегнул ремень, дёрнул ширинку и, всхлипывая от стыда и безумия, омочил рубаху, сложил её втрое, обмотал кое-как голову. Солёная моча жгла глаза, стекала противной струйкой в рот.

– Боже мой, – взмолился уже одуревший от угара теряющий сознание Кочубей.

– Куда нас везут, откройте ироды.

Криков, стонов становилось все меньше. Тряпка уже не помогала, Кондрат улетал в крутящуюся бездну.

Ночью он очнулся, услышал вой не то волка, не то собаки, ощутив на себе тяжесть чьёго-то тела, разобрал стон, исходящий откуда-то из глубины.

Кочубей открыл глаз, левый,

похоже, был подбит и затёк. Растолкав своим телом обмякших, Кондрат выбрался на чьи-то волосы и оторопел, почувствовал мёртвящую, невыразимую тишину. Понял Кондрат, что остался живым, рядом узнавал Колю, в которого стреляли у базара, а вот и потемневшие, с открытыми ртами, ужасные лица двух скорчившихся девочек.

Кондрат увидел звезду, поклон березовых ветвей серёжками и тихо заплакал.

– Боже мой, Боже мой, за что, мама? Дорогая мама, Вы где?

Он понял, что надо бежать. Но глухие стоны, чей-то едва ощутимый толчок из-под тел, его оставливал.

Кочубей начал отодвигать, перекатывать тяжелые тела. С вышки лучом полыхнула сирена. Автоматная очередь треском расскла тишину.

Его охватил ужас. Стоны снизу смолкали. Мгновенье, и дед умолк со всеми. Лишь дремучий ворон, живший на высоких, мрачных в эту жуткую ночь деревьях гаркнул, выражая привычную на его веку скорбь. Кондрат пополз по траншее.

Ещё вчера живые, замолкли навеки, навсегда, унеслись. Не дождалась бабуся Пелагея, когда Иришка родит казачонка. Поликарпом мечтали всё назвать, в честь прадеда, погибшего на Брусиловском в 1916 году. Не стало Иришки и мужа её Мишки, вислатого чубаря, ходили они вчера за картошкой, да увезли их на стальной машине. Как же и она-то теперь, пережитая всех, будет жить?

Кондрата не искали, отлежался он пару дней и решил схорониться в Кучугурах у старшей сестры. Хата у неё саманная, пяти соток огород на песчанике. Кондрат начал ковыряться на земле, щипать горох, окучивать картошечку, загрустил по жизни. Что-то в груди закручинилось, в старое, наполненное радостью и горем, потянуло. Поливая розы, памятью Кондрат ушел в свои путешествия по юности на Балтику.

Вспомнил Кочубей петроградского монаха, который ему, давно, в Александро-Невской лавре, на Масленице, во время его странствий, про Святителя Феофана Затворника сказывал. Память на хорошее сильна. Вспомнил руки его натруженные, синими прожилками светящиеся, ветхие, и прозрачные пальцы с костяными четками. На старце грубого плотного сукна черная мантия покаянная с херувимами и древним словом молитвы, вышитые серебром в тонкую зернь с крестом на груди. На седой главе скуфья фиолетовая, очи старца прямые и теплые, но белые, суровые и колодезные, голос певучий ангельской, наперсный крест оловянный потертый, зацелованный на нем. Встал перед глазами его живой образ. «Скажите, Отче, что ещё молитвенники поговаривали?!» – спрашивал тогда удивлённый Кондратка, было ему осьмнадцать от роду.

«Покайся, Кондратий, – говорили они, – прими завет Ермагена святого и пастве царёвой на Кубани втулдонь: побойтесь Бога!» И щас на тя, вон глянь, – помнит Кочубка, – старче пальцем в небо ткнул, погрозил десницей медленно, глаза егонные горят огнём, светятся, сжигают Кондрашку, а сам

иеромонах аки Илья пророк с большой иконы, что в Исаакиевском, страшный грозностью и вечный. – Вещуны святые, они с небесито смотрют, – шептал пламенной любовью в лицо ему иеромонах. – А ты их не читал, не видишь. Шары вы свои пробздели, прообязьянили пустобрехи, агелы везульвулови. Прости мою душу, Господи.

– Вы их все не видите, не слышали в них Божеские промыслы, произволения, не зрите, срамотеи, святых отцовых, помощь их духовую, слепотеи, либуральниичии-ти все, души-то срамом смолите, еритцы. Попомнишь старика. Пробазарили вы войну с антихристами, Русь, Бога прозабыли, тьфу, отродье житовье, при Сергии преподобном, аль при Грозном Василиче русаки умнее были, а щас – тьфу. Чать свечу поставишь, спомнишь, – с заиканием, тягуче говорил черноризец.

– Погребается народ дурью своею. А может, и выдюжить!? Бог попустит, и справите благу у всих он-ных на-а н е б е с и, – потягивал словцо, еле слышно нашептывал нараспев старче молитвенно, склоняясь к уху замороженного и не всё понимающего Кондрашки.

«Поздно, поздно спохватились», – помнил сердцем Кочубей запахи от него ладаном, легкую и певучую, тихую речь заповедную и дух родимый, тихонькой такой, тоненькой. Теплой старинкой от древлеверц веяло, тянуло из утробы чабрецом луговым и несказанным Богом.

А ить с семнадцатаго четверть века адого сгнуло, а помню, аки вчера монах Божий мою смрадову душу тряс, да не вытряс окаянную, лядскую такую, а плевать на меня смердящаго, на всих

на нас па-ливать теперяча. Прогалдели, протяпали мы Русь, империю казачью, эх, Бога русаков прозабыли, предали самих себя. Вот нас Господь и покарал, – гнобил себя оставшийся в живых. – А какие были мои предки? Богобоязненные Кочубеи?! Сколько сгнуло родов запорожских, кубанских казаков, русских фамилий, а нам хоть кол на башке чеши. И еще немец напал. Да, попала Россия. Что мы оставим детям? Что сохранит наш род? Простит ли нас Всевышний?

Дерьмо я последняя, ушёл вот в горы с полковником авантюрой Кузнецовым, а надо было бить игу чёрную, не мотаться по чащобам», – думал Кондрат, поливая зелень и наблюдая за цыплятами, по ходу вспоминал годы Первой мировой, поиск хлеба на стороне, на севере и годы крушения старой служилой жизни, гибели в гражданскую, голодухи вольной Кубани, конягу верного Серого с грустными и преданными глазами.

Вспомнил батьку Бабыча, умученного у Машука в сентябре восемнадцатого, зарубленного деда Трифона под Елизаветкой, как голосила мать тогда, не приведи Господь кому слышать. Вспыхнуло жгучим жжением, эпизодами в деревянной от удущья голове, как бились они отрядом за Пашковкой, и миг, когда рубанул ему левую кисть шуплый, чернявый со свирепой рожей красный чёрт в подранном тулупчике, да ускакал немщённый.

Глодал его душу жуткий срам казаковой печали, когда резали братцев, иже топили лютовайщики у моря без разбору, кто под руку, а оставшихся и в Старощербинке, в Тимашевской, Кавказской, и

отовсюду со станиц выбивали, обдирали их куты до тощих двух курей. Забивали сапожками вороньими обманутый народец, да по хребту, на вытяжку – всех. Оплывывали и высылали нищими, ободранными и униженными, с детьми, сходящими с ума, заикающимися от ужаса, ревущими дурным матом, на срамных повозках да обгаженными безоконными вагонами.

Вспомнил выплаканные, высохшие, выстраданные горем жалкие, бездонные очи столетней бабки, просящие помощи, дикой взгляд одной блаженной санитарки, ищущей мать, и стоны бабьи, когда жгли их хутор большевики. Помнил и сентябрьский расстрел ста двадцати казаков в 1920 году станицы Келермесской чоновцами. Годы повального голода и страшных лет безумства новой власти, молнией, тошно просквозили в его воспаленном мозгу, вопрошая, сверлили совесть. Неужто прав был монах, когда повторял:

«Переполнено русскими душами Царствие небесное, места там, вещи старцы говорят, теперяча не хватает».

«Русь страждущая, прощения вопиет за Царя Николая, во тьму брошенного всеми русскими, может, только за него и страдает, и молит внутрих за отречения народом Государя, за святыню, отданную так странно, безумно, небрежно, малодушно ворогам на плаху. Народ кару Господню вовеки приял, прошёл Голгофу, навыстрадал. Чашу испивает. Русь убиенная грехом своим же ко Спасителю на коленах чать уже пощады, может, последней и мщения ропщет» – просыпались в Кочубее какие-то спавшие ранее ему не виданные силы и переживания.

Как-то под Пасху получили Литвиновы запоздалое письмо от брата.

«Здравствуйте, дорогая Надежда! Племяшки Катенька, Лизочка, Танечка, всех Вас сердечно обнимаю. Как вы живы-здоровы? Надя, как твоя ножка?! Мы воюем хорошо, идем домой, гоним гадов в шею. Мы фрицев добьем. Вчера до ночи окопались, орудья выставили, запаслись снарядами. Только щас передых, почистил винтовку. Подшил воротничком гимнастёрку, жду товарищей с планёрки. Завтра держим высоту и войском наступаем, за Нойендорф немец обещает страшный бой. Здесь в Восточной Пруссии сыро, и снег мягонькой, как у нас на Кубани. Федина разведка доложила, у немцев на взвод больше и артиллерии погуще будет, защищаются. Но мы ничего, привыкшие. Надь, я вам писал летом, дали гебельсам в Белоруссии прикурить. Помню, мы отрядом, в начале июля, при штурме операции Багратион, девятого числа, в районе Узлян взяли язы-

ка в плен, представьте, командира 260-й пехотной дивизии генерал-майора Гюнтера Кламмта, за шыворотку вытащил его из палатки. Сдали генерала, так их в Москву, на Большой Вальс отправили. Вы чать слышали за тот марш-прогон по радио? С той битвы гоним гитлеров. Наденька, останусь живым, сообщу. Не серчай за нашего конягу, за Раскосого, я ево тогда в сороковом весной не досмотрел, загнал, конь сам с голодухи рухнул, мы с ребятами вручную допахивали. Вы там смотрите, дидову гармонь с голодухи не продайте, спрячьте. Чать, весной с победой вернусь, поиграю Вам, Лизке, племяшкам от души. Ну бувайте, да хранит вас Господь, обнимаю, Ваш братишка артиллерист Константин Литвинов. 1945 год январь, со 2-го Белорусского фронта».

– Бой начался ранним каленым утром, двадцать четвёртого числа в среду, ночь почти не спали, чутка поклевали, а потом Фёдор песню затянул, – начал гость долгоданный.

*– Ах вы доли, доли фронтовые,
не страшны нам немцы
грубые, шальные,
Любы девицы
Русские, лихие.*

– Да на голодные животы после чифирка-купеческого залегли на боковую. Егорий из Новагорода вспоминал стояние на Белорусской земле: зашли мы, говорит, как-то на постой. Дед древний, глазом орлиным насквозь сверлить, жутко аж, борода его седая велесова холмом серебряным струит до живота, в сапогах ещё царских времён, коза у них Бяша, бабка столетняя, шустрая, синеокая, в шалке. Всё

живут прошлой жизнью, Христу молятся, старообрядцы, несёт от него духом и луком. Картошку сажают, колодец там же на хуторе, пруд с рыбкой всякой. Дед нас горилкой, помню, напоил, картошкой накормил под иконой тёмненькой, древлей, мы давай песни петь, и командир в хату: отряд, стройся, посчитайся. Улыбается.

Так дед вприпрыжку атта на место главного:

– Орлецкий, гвардии старшина Его Императорского Величества, снова в строю!

Все так и ахнули, ну Шмырова за стол, бабуся Тая звали, она ему яиц, щец, всё подшучивает шутиха: ать хлопец красавец, останься, на Машке поженим. Есть у нас краса, пшеничная коса, ждёт жениха, а его нетю. Останься, Шмыров!

– Бабулечка родная, куды ж я свой полк оставлю? – чавкает комдив.

– Так, роднёхонькой, после Победы возвратись и приживись!

– Посмотрим, бабуля, у меня ведь семеро по лавкам на Дону, татюку ждут, вот давай-ка лучше Сёму сженихаем!

– А где он, сизый орлик? – Таисья Федоровна запечалилась, заискрились бабкины влажные с радостей глаза, очи всевидящие, материнские.

– Да здесь я, здесь, поисть не дадут, – шамкал Семен, приглаживая медные усы, поправляя затертую пилотку.

Бабка прищурилась, слезла с лавки, юркнула за скрипучую дверь, вытащила из потьмы, из сенок рубаху алую. Несёт.

– На вот примерь, с сундука, древляя, суконная, дидова, он в ней меня ешо сватал, новёхонькая. Топлива сперва умойся, а я твою гимнастерку, пока ходишь, постираю.

Быстро они Сёму приодели, бабка Таисья его за руку и вон со двора. Пришла одна, без товарища.

– А где Сёма-Ерёма?! – мы в один голос, завистно чать.

– Пуцай молодке пособит, крышу починит. Вас нагонит, потчивайтесь, орёлики, соколики мои родненькие.

Сёма к обеду на следующий день нас нагнал, мы-то спозаранку стройся и в путь, нападение, а он,

пока ей починил, на реку сводил, ночь стихи читал, ухаживал да провожал, пришёл, а полк уж снялся. Вот перепужался, но нас догнал, притащил ведро сметаны, а в Пуховичском районе выкрутился, сразу на следующий день бой был, пленили генералов и тыщу немцев, везде поспеет, простили сержанту гулянье под луной.

Прогутарили до ночи. Фёдор Пантелеич, ему шестьдесят, всю войну прошлепал, всполошился:

– А ну спать, разгомонились, всё о бабах, расчехвостили мою утробу, глаза прикрою, а Дуняша моя да во платишке за столом, с пирогами, ажно хочу её укусить, к щеке родимой прижаться, рученьки, подмышки зацоловать, соскучился по запахам, по волосёнкам густым золотым. А ну отбой, сатирики-лирики!

Не успели глаз сомкнуть: «подъём вооруженным силам». В жилах оторопь, снаружи сырость, колотун, глотку от прошлого крика да от холода першит, полковник Елкин будил: «Рота, в бой!» Мигом хлопчики вскочили, были через минуты уже готовы. Фронт с Рождества нового, победного сорок пятого развил на Крещение прусское наступление. В свирепых боях за овладение городами отличились войска генерал-полковника Болдина, генерал-лейтенанта Озерова, генерал-майора Мультана, генерал-лейтенанта Захарова, генерал-майора Масленникова, полковника Казака, генерал-майора Далматова, генерал-майора Кроника; артиллеристы генерал-майора артиллерии Васильева, генерал-майора артиллерии Касьянова, их командиры, танкисты, связисты, солдаты брали населённые поселки, штук

двести с лихвой. Боями завладели городами Ангенбург, промолотили Видминнен, все это по зиме, в Восточной Пруссии, взяли Ликк. Армию бросили в самое пекло обороны немцев. Неделю бились. В ушах эхо, на солдатах запёкшая кровь вчерашних битв. Успевали и за ранеными и за убитыми, всё на ходу, надежда лишь на Бога да на скорую Победу. На перекурах, между боями, чувствовалась совсем иная теперь обстановка, чем в России год назад. Солдаты нонча, как воины небесные, огоньком лица пылают, словно иконы, после боя всё им нипочем, самокрутку, похлёбку и песню – готовы хоть снова в бой. Ещё бы, и техникой Уральцы подмогли, и самолётами, танками подпрягли, вот мать Россия – тыловики-братцы как стараются.

Одолеем немца, русские саму смерть окаянную одолевали. И вот теперь свинцовое ранёхонькое утро, Нойендорф – крепость сатаны, а там озера, зябь. Неделю шли бои, обоз потеряли, тридцать раненых. Лейтенанту руку правую осколком оторвало, ему её пеплом махорочным посыпали, перетянули, два дни отлежался.

Да вот, смотри-ка, с нами тоже в бой. Ему не страшны ни танки, ни взрывы, его семью, братва рассказывала, на Смоленщине в сорок третьем в деревнях Новая Борьба и Заречье во Выходском районе, что на Угре, всех до единого немцы сожгли. Он думал, деда отыщет, да нет, шли мы позапрошлым годом летом, или осенью, через Смоленск, Тимофей в свою сожженную деревню ходил, земляки из соседей сказали, никого не пощадили. Петр Бычков выжил и ещё шестеро человек.

Всего на Смоленщине пожгли столько деревень, людей русских, что тебе тут не Сталинград, Прохоровка ли, где бои и всё ясно, а сто Хатыней, там на месяцы, на вечность погорелым, заживо сожженными весь мир заволокло, остудило сердце человечье. Триста сел с живыми русскими гитлеровцы сожгли. На десятилетия восстановления, а детей, баб судьбы возвратишь, вымолишь!? Полмиллиона сожженных жителей только на Смоленщине. Россия памятник, вечную стену плача возведёт нетленную. И скорбь, и боль, и тьма отчаяний – как вспомнишь.

«Раз ведь и навсегда мы недюжую войну побеждаем, землю русскую, мир Христов, воздух рдяный, тропинку родную и дом старика отвоёвываем у лютой смерти непрошенной. Чтобы ценили внуки, жили без сраму, чтоб работали по чести, плодились, сады чтобы цвели и хлеба вдоволь тучного православным. Не промотали бы Отечество древнее, праву думку. Верим, русские дети будут веками помнить, беречь родную землю. И нашу битву: за Русь!» – думал так, уже прицеливаясь, сержант Литвинов.

– Мы сели в приготовленные вчера окопы, – ах, вспомнишь – вздрогнешь, грызли дебелию, мрачную землю киркой и руками, – линией, полудугами, закопались взводом, триста человек, было дело, Людушка, – так рассказывал глухой Ефим Костунец из станицы Новоберезанской, приезжавший к нашей маме контуженый.

– Так вот сидим, рвёт землю, немец, топорщится, упирается. То не долетит, то рядом рванёт. У нас пять пушек гаубиц Д-1, 152 мм, подзакрытых, мы укрепились,

выставились на позиции да пару зениток 52-К, образца 39 года, старенькие лафеты подмяты, ободранные, но выручали, и по 2 автомата на брата, рожками увешаны. У ребят и винтовки были, зажигалки на случай танков наготовили да с десяток гранат.

Тогда уже неплохо снабжали, да вот поиздержались, не успели нам подвезти. Да ждали мы подмогу, ещё артиллерию, пару полков. Удерживали позицию и наступали на бастион. Мы же матёрые, порох в крови, на бабкиной молитвовке и держались.

– Костя, Коля, держи правый фланг. Первый отряд, за-ря-жай, второй отряд, за-ря-жай, третий товсь в лобовую! – кричит комбат полковник Турчанинов. У вашего Константина ещё со Смоленщины немецкий бинокль был, Doppelglas, помню, разглядывает казачок, в сиреневую синь густого рассвета и насвистывает:

– Братишки, да их чертей, тыщи три, не меньше. Автоматчики идут, вижу мотоциклы, замыкают машины, глянь-ка, до зубов. Вижу плацдармы, там что-то укрепленное.

– Ох, Маруся, будет бой, вот сейчас я отопруся, песни пой и не горюй, кончим немцев – и домой, – напевал Костя, жадно затягиваясь козьей ножкой.

– Сержант Литвинов, ваш отряд сперва подпускает пехоту – и огонь, дальше берёте на себя автоматчиков. Всё ясно?! – скомандовал полковник Казак.

– Так точно-с, товарищ Бурсак! – пошутил знавший комдива Костя.

– Га-га, – хохотнули солдаты, знали, кого поминал Константин Литвинов, были бойцы Красно-

дарские кто с Гоголя, кто с Карасуна, Вова Белый – казак из Пашковской. Бой шёл уже почти рядом, мы лишь отстреливались, подпуская немцев ближе.

– Огонь! – рывкнул с блиндажа генерал Болдин.

Три залпа грянули один в один, земля вздрогнула, нам как молотом по ушам, и понеслась. С той стороны что-то гроыхнуло.

На первом отряде развернуло взрывом орудие, двоих сразу разорвало, кости навыворот, мозги на вылет, некогда смотреть, остались с четырьмя пушками.

– Товсь, – кричит стреляющий Дроздов.

– Готовы.

– Пли врага! – командует взмахом потерявший фуражку от свиста пуль Борис. Нашим залпом перевернуло вдали машину, нас обволокло дымом капсулей. Серь в ушах, синь в глазах. Справа строчит Вован, казак атаман. Константин то с автомата, помню, то из винтовки всё снимал фрицев. Уже рядом немцы, мы сотни две положили, бьешь их, не задумываешься, кто там у кого, семья иль дети, война. Только успевай, поливай да уворачивайся. В бою не ты его, так он тебя.

Вдруг как одно орудие заклинит, сбой механизмов, стужа, всё рывками, изнашивается.

– Сашка, Сашка! Масло, где у тебя? – орёт оглушенный комвзвода Савелич. Сашка несётся с бутылкой к окопу, и не успел же пару метров, как его подрежет, полголовы на снег, так и рухнул в окоп.

Стрельба. Слышим рёв с неба, Мессершмиттов подняли.

– Ах, сволочи, не возьмешь, – кричит Леший, он у нас казанец. Юркнул в траншею, зенитку крутанул,

дулом наверх, шмальнул несколько раз, попал. Гривой черной мессер загудел к нашим в тыл, там есть кому принять, постреляют прыгающих.

– Ура! Так его, – свистят наши.

Смелый татарин, много он дорог прошёл, на гармошке всё играл. Коня-доходягу за собой по фронтам таскал, корочкой с ним делился. И его под конец-то войны срезало, так Абулаис одной держится за живот, брякнулся на спину, с одной-то руки отстрелял весь рожок, бачили мы: немцев троих, четверых повалил, но и сам затих навеки.

Не дождётся его Джансиар, дети Анвар и Кушчи пойдут в школу, без папки вырастут.

Свист пуль кругом, визг, железо об железо, всполохи, солнца не видно, дымища, камень от взрывов шипит, снег чернится, земля ключьями взрыта, клокочет, ребята не робели. Рвётся уже немец к нам в блиндажи, через окопы, схватка, бой рукопашный, всё в дело шло: штык, нож, приклад, у кого пистолет, то лопата. Рубали друг друга, немец к битве не горазд, упакованный в тяжелых бушлатах, всё на – рэ, бисово отродье.

Петя, помню, флаг вытянул из-под рухнувшего знамени Дугашвили Самсона и успел навстречку, воткнул острием в брюхо, насквозь древком пробил немцу, да в живот бунчуками полотном влезло, так Петро его две минуты выдернуть из груди не мог. Да поднатужился, ногою уж к земле поверженного притопнул да вытащил, оно ещё краснее. И побег на врага, и мы все ринулись, человек сто, а навстречу их тыща, наверное.

Ать рубиловка началась. Фрицы не ожидали нашего броска, взбрыкнули, ишь, некоторые за-

аднюю. Мы их, щеглов, покروшили тогда. Да и наших побили.

– Да успокойся, Ефимушка, закуси, милой. Ты про нашего соколика расскажи, как Костик-то погиб? – спрашивала мама Лизочки, поседевшая не по годам Надежда Лукьяновна.

– За родину он погиб, милая, за вас вот ребятишек, крикнул только: сестрёнок поцелуй, Мишка! Выскочил из окопа и рванул в упор немцев бить. Человек семь уложил, на него – два амбала, завязалась драка, кругом вой, немцы высокие, черти, орут, драться не умеют, только ножами и автоматами. У кого патроны кончились, так они обеими руками машут, глаза навывкат, рыжие, словом, псы.

Вот тут-то Костю и полоснул один финкой, а второй три раза выстрелил в грудь. Костя на них, схватил за дуло свой автомат, одному-то вдарил по мозгам, да, видать, и всё.

Упал Костя. Я этих пальнул, сам к нему, ребята рядом, прикрыли.

– Костя, Костя, – говорю ему, а он, сестрёнки, уже и дух испустил. Лицо у него было светлое, ангельское, красивый, как раньше, когда мы на танцы в Горьковский парк ходили в сороковом году. Помнишь, Надя, он всё чуб себе, як запорожец, такой длинной носил.

– Чуприна. Мой хороший, – плакала уж Надежда Лукьяновна, сереньким в желтый горошек платком утирала красное от слёз лицо, – в двадцать пять годочков, юной совсем.

– Во-во, чуприна. Вот он точно же такой в тот миг и лежал, на лице егонном отражение славы Господа вдруг я увидел, аки неземной красотой и тихой радостью светилось оно, торжественное и счастливое,

просветленное и покойное, поцеловал я его лоб и стащил в окоп у блиндажа, укрыл под рогожу. Сам обратно.

Потом его, Надь, девчонки сказывали, санитарки, за день тот немцев к вечеру наши самолёты и артиллерия с танками отогнали, добились, и Костю с павшими подобрали к утру.

Всех ведь, Надя, у Нойендорфа и схоронили. Тихое там место, лесное. Летом, говорят, грачи, лебеди, рядом озеро, утки квочнут. Утром мы их успели прибрать на взгорочке, у каждого крест. Двести восемьдесят душ-героев, моих однополчан, всех к Богу. Туман стелется, – аки души их, нас обволакивал, что-то всё говорил шум ветра, не отпускал. Мгла бездыханная, и сын: у-у – гукал, ухал, скулил недалече.

Про бой-то дай ещё скажу. Потом мы отстреливались, осталось нас десять бедолаг, сидим возле мятой пушки и с последним танком бодаемся. А там дальше ещё урчат, чуть ли не полк, и машины, помню, транспортёры крадутся с полкилометра от залога. А у нас четыре снаряда, три рожка, два пистолета и пять ножей. Вот и бейся. Ну что делать, рядом братки лежат, немцев тьма. Мы в крови и копоти, как кочегары, черные, зубы белые, дрались шесть часов, сил нет. Земля, синью дымит, вспоротая ямами, брюхом колдобинной, изнывает раною, слюдою отливает, всхлипывает дыханием своим. Птицы дурёхи ещё откуда-то поналетели.

Давай биться, сбили мы этого тигра, выбравшихся троих экипажа Сёма-блатной снял, он у нас от самой Москвы, из воров, ну такой мужик – не промах, верный,

понятливый, душа разбойничья, но справедлив. Тоже живой, сейчас в Германии шерстит хитлеров. Майором служит, на сверхсрочке, сам Жуков его благословил, медалью.

Ну, вот мы и остались всемером, что, братья, делать будем? Гадаем на полудыхании. Пока отбивались, Игорёху Новгородского потеряли, очередь его подсекли. Осталось нас шестеро неприкаянных. А подмоги всё нет. Генерал со связистом пару часов в тыл за полком дёрнул, да где-то застряли. Полковник Казак смотрит на часы, Мурку напевает. Давай ползком к блиндажам, где глубже.

Митька орёт, он контуженый ещё из-под Сталинграда, да заикается:

– И – идите в -об, в обход. Припри-к-рою.

Я их б-быков, с-сво-лочей, при-пере-х..., перебью всех. Я и – им покажу си-сидорову м-мать! Бе-жите же, братцы, за нашими, тут не-не-да-леко.

– Митяй, хорош дурковать, пошли с нами. Там их глянь сколько, мы тебе пушку только сможем оставить и наган, пошли с нами, говорю, быстро! – тормозил за рукав Митрия комбриг. – Приказываю!

– Не-ет. Х-хорош бухтеть. М-моя на-на-писала, пи, пи-с..., ш-шелуха рыба, спужалась за робяток. С док-дох-то-ром со..., сошлась. Бежите, хлопцы. Я их поддержку, поглажу. Мне рож, – рожка х-хва-тит. Тляха муха. У-ух, я им щас дам прикурить! Ну, с Богом, шуруйте живее, моих детей, они с Тургенева, с-слышьте, сиротам п-помо-гите, если што.

Мы оставили Митьке автомат. И бегом по траншеям к деревне.

Помню, идем, оружие находим, стреляем в сторону крепостей, по немцам, прямо наотмашь за спину и дальше.

Там озеро взлохмаченное, с него птицы поднялись – вороны, совы, битюги слетелись. Принесла их нелегкая. Кружат над боем, курлычут, каркают словно оркестр. Мы им машем: тише, дур-ры, кыш. Летите, мол, быстрее, машем, а они сели на павших, на опрокинутую пушку, на ямы и икают. Печалуются, будто плачут, подвывают ветру, болезнуют, живые души, чувствуют, ещё больше сердца нам рвут. Вспомнишь, взвоешь. Наливай.

Затянул Фима, провалился под цыгарку:

– Память сердце сжигает в ночи,
Были битвы, хмурые дни,
Знаешь, брат не вернулся с войны.

Прошла война, цветы лежат на тротуаре, время старые боли не лечит.

– Очередью по небу пальнули, пугнули, прогнали тех птиц, – продолжал уж хмелеющий ветеран. – Оглядываемся, Митяй Сиволап стреляет, а немцы ещё далеко, метров четыреста, цепями идут, а с машин радио орёт:

– Achtung! Achtung ruisichen, сдавайся.

Сёма им рычит в ответ: «А по шарабану, дойче, – не хошь?» И строчит из ручного пулемёта, околдованный боем, – всё ему ни почем. Три раза сидевший, пять раз рубленный, сорок раз стрелянный, шесть раз убитый – всё живой, молится, скалит фасками, смеётся и долбит, креститься и шмаляет почём свет горит.

– Света, как Джульета, с фразером гребёт, дай мне Керя финку, ах пойду вперёд, поинтересуюсь... – благовал Сёма, напевал куплеты юности своей арбатской, бился до последнего. Шли мы, пригнувшись, и бились на отходе.

Слышим, гул в сером и дымном, низком, мешками висевшем над нами гремучем небе, верхний свист сверлящих воздух пуль, сперва, чуть поодаль, глядим: одна транспорта первая взорвалась, перевернулась, немцы к земле прибились.

– Глянь, наши, эскадрон летучих, Ткачев, наверное, поливает!?! – басит, радуется полковник. Ну, мы ободрились, штурмовики звездают, авиация – нестеровцы ать! – тогда-то и постреляли немчуру.

Слышим урчат наши тэ-тэшки, тридцать четвёрки, со словами РОДИНА на башнях, танкисты идут чинным строем, громотьба. Ревут танковые войска генерал-лейтенанта Чернявского, рвут оборону. Успели подпрягу нам дать, наступление продолжается, пальба по форпостам фрицев, гром поднебесной, кара грядет. Неминуемо.

Бой этот, генерал Г. Жуков назвал переломным на Прусском фланге фронта. А Сталин приказал 24 января, в 24 часа, в столице нашей любимой Родины Москве и от имени Отечества Святого салютовать доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим поименованными городами, ажно двенадцатью артиллерийскими залпами, как дали-дали на всю столицу, осветили площади, древние мосты из ста двадцати четырех орудий в звёздное благодарное небо Русское. Вот так, девочки!

Неслось по фронтам: «За отличные боевые действия объявляется благодарность руководимым генералами войскам, бившимся за овладение названными городами Восточной Пруссии.

Вечная немеркнущая слава героям, павшим в решительных боях за свободу и независимость России!» – рапортовали из Столицы. «Смерть фашистским захватчикам» стало знаменем эпохи. Так звучали благодарные возгласы Москвы и тосты за наши успехи, радисты докладывали.

– Огонь, – вставая с рюмкой, Фима опрокидывал горькую, за товарищей.

Вздохнула Надежда Лукьянова, вспоминала сына Георгия.

– Знаешь, Ефим, наш Георгий привет прислал из Берлина перед Победой. Все ходили на станцию, думали, он, весёлый, радостный победитель, скоро с первым эшелоном придет домой. И замолчал, ни сном, ни духом, ждали мы роденького, выискивали всё сыночка в солдатах по приезде, глаза проглядели.

А нам его начальство штабное извещение: что, мол, так и так, в голову Ваш Георгий в побеждённой Германии в ближних боях ранен, лежал в госпитале города Кюстрине. Да помер там же от ран. В чужих краях лежит, беденький, во землице хладной, уже и косточек милых моих, может, не сыскать. Ныне это Коштань – перешёл в Польшу.

Кто же ему могилку прибирает? Рвемся, какой год, поехать поклониться, припасть кровинушке, да не пуцают нас власти, смеются над нами.

Им куда-то война – современным-то? Сердце-то материнское им далёко, им всё лозунги, партсо-

брана, лица их холённые комсомольские, чистенькие. Да и денег у нас нема.

Нам журнал показывали, снимок там есть, на нём видно в самом центре, на стене Рейхстага ярким красуется роспись Георгия моего. И книгу видели, и там фотография с подписью моего сына Литвинова Георгия и цифра 383 зияет, им вышкребанная.

Мы уж здогадались – это его полевая почта, 2-й эшелон, 24 отдел ПАХ – точно как на его конверте. Вот так оно. Соседи, с год говорят, кто-то в Москве в музее военной славы из них бывал, там на постаменте под стеклом сей памятный кирпичик чермный и храниться, с подписью Литвинова Георгия. Да куда же мне тепереча поехать, старухе. Детям если только.

– Слышь, Надежда, вспомнил вот, имя твоего сына Васи я в Сталинграде прошлым годом вычитал, случайно. Мы съезжались 9 мая, гляжу, на вечном огне, на границе выбито:

– Василий Исидорович Литвинов, 1925 г.р., погиб в ноябре 1942 года. Герой штурма Сталинграда.

Мы с ним виделись летом сорок второго, в одном из боев наступления. Вечером Васю в шею ранило, увезли в медсанбат. Шутить любил Василёк, добрая душа. Герой. Так что поезжайте на Мамаев курган.

– Василий двадцать третьего июля сорок первого на войну ушел, с Кропоткина начинал, два раза брал Керчь, по отцу всё горевал, его имя и в Тамани в середине станицы на памятнике имеется. Он, как все наши русские парни, за отчизну. На небе-то теперь песни поет кубанские, коней, может, куёт. Шибко Васе кузня дедова по душе была. Скоро встретимся с голубочком, скоро свидимся.

Есть по ком историю написать из рода Литвиновых. Жил, творил и строил в Анапе умный дядя Надежды Лукьяновны, Пётр Елисеевич, перебивался при советах всё особнячком, молчаливо. Про него рассказ особый. Не тужил после перевороту, стишки, книжки почитывал, всё о Трое да про Генуэзцев, о Херсонесе томики собирал, тем и жил. Да так, похаживал по окрестностям, где камушек найдёт, накопает на Горгииппии и залётным коллекционерам за хлеб или за рыбку обменяет, то монетку выищет древнюю с аполлонами, то крестик чудный, змеевик ли, выменяет на сальцо.

А как-то раз и Афродиту с обломанным носом, сверкающий торс красивый, белёсый и ценный, нарыл в руинах, обрадовался. Нёс домой, немцы-то заметили у него радость, подозвали, обшарили сетку, развернули бумаги, а там она, во всём великолепии, сияет.

Одёрнули, осадили: «Прочь, шнэля», – автоматом. Отобрали диво античной культуры, плод мраморный Праксителя, хранительницу прахом уснувшей Византии.

В древней приморской слободке, повывавшей разного горя на веку своём, в Анапе находилось до 1943 года ГЕСТАПО. И как-то немцам местный мот, рыжий пьяница, то ли жид, может, турок, наврал по зависти, говорят старики, к семье Литвиновых.

– Раньше-то Лукьян Елисеевич, отец Надежды Лукьяновны, – вздыхая, рассказывает Елизавета Исидоровна Литвинова своим внукам, собравшимся за столом под вечер, – владел кондитерской, знаменитый был кондитер,

до переворота окаянного. Лавку имел, места на рынке, постоянную клиентуру, до боев белых за самостоятельность единую и свободу.

Приезжая же с окраин Малороссии, оторвавшаяся от корней, а может, и по иному семья юдова Мотвшей, как видно было по рассказням, распознали чать все их проделки всё подмечавшие соседи, баульки русские расплели сети гнусные и поняли, что и ненавидели сии торгующие иногородние их, Елисеичей, за энту вежливость, что обычно бывает у добродушных, широко живущих своим трудом славян.

За дружбу с дворянскими домами, поговаривали, и за широкие жесты казачеству и поклонение старине, за щедрость и вспомоществование, кое оказывали труженники, наши сородичи, без росту в барышах, а за спасибо делали то, и не раз.

Молва чать ходила, город пшик, южный кут – нос за нос узнаёт, за простоту и хлебосольность, за большие столы к ним в имперское житьё вся Анапа на праздники съезжалась, христосовались.

За рукоделие русаков, что было у них в крови, видны в плодах от усадьбы с беломраморными колонами с капителями и резными наличниками до зимних салазок ажурных. Наблюдались в шитие дивных платков да набивных лебязьких, обшитых золотом подушечках, одеяльцах лоскутных – во всем светилась у них природная та смекалка, которой в стародавние был силен русич. Ну, невзлюбили, и хоть ты тресни, – тайно затаился камень у особливых, этних новых, прифуфыренных таких с гонорком,

за пазухой пёкся, выпекался до грозного часу.

И грянул ливень, Мотвша кучерявый, сахарком, банком в рост балующийся в царёво-то жирное время, – невтерпёж ему стало, что ли, – и заглянул как-то на рассвете в ГЕСТАПО, поведал байку полковнику оберштурмфюреру Горгфальмеру, что будто Пётр Елисеич прирождённый инженер.

Вызвали Петра, притащили за шиворот в бывший четырежды отобранный у природных хозяев голубенький особняк. Сперва красными, потом белыми и вновь большевиками. А нынче и немцами. Привели в знаменитый дом, с коваными решетками со львами, с кулумбами, пальмами и кипарисами, что у фонтанов с лебедями на площади мостовой, на бывшей Николаевской, по-новому же – на Ленина. Затащили Петю к бледному, вышколенному, с рыбьими глазами офицеру на приём, в кабинет и начали допрашивать, да с пристрастием.

Кто, мол, откуда, чей сын?

– Sitzen russische! Wie haist du? Du ist Ingenieur?* – спрашивал подтянутый, строгий, с огромной выдающейся вперёд скулой офицер в сером кителе, на котором три звездочки и полоска на петлице, а на погоне Пётр заметил латунную звезду. Фриц был высок, в офицерском открытом кителе цвета подлинявшего волка – фельдграу, в белой накрахмаленной рубашке, с черным галстуком. С волевыми волчьими желтыми глазами, в фуражке с орлом, с серебристым жгутиком кантами, в юфтевых черных сапогах, в иссиня-черных лайковых перчатках, с тугой плетью в руке.

– Нет, я простой дворник, когда-то работал сторожем на бывшей кондитерской фабрике.

– Кури русиш, – ему пододвинули коробку сигарет.

– Спасибо. Не курю.

В кабинет зашли ещё двое офицеров. Один был приземистым, крепкого сложения, с большой головой и узким лбом, бельмоглазый, с прищуром, фуражка нелепо сидела на лысой мясистой голове, на макушке набок. Он курил вонючий табак и ходил вдоль окон взад и вперёд да крутил кастетом. Второй в пенсне, по виду самый главный, рослый, с огромными нескладными ручищами, одной клешнёй фриц манерно, поженски, держал кожаную папку, правой, поигрывая, потряхивая, иногда поправляя нервно очки, изящной кованой тростью с барсом на цевке рукояти. Этот сухарь бросил на край бюро папочку, стремительно подошёл и развернул на столе карту с инженерными чертежами. И знаком дал понять, что приглашает к столу Петра.

– Смотри, вот эту электростанцию ты должен арбайтен, исправит всё, слышишь: всё до послезавтра, иначе, швайн, комен in Osvenzim konzlager, arbaitem nach ist Germania, – пригрозил Миллер острым отточенным карандашом.

– С чего вы взяли, я не инженер и не имею представления, как работают станции.

Про себя Пётр думал: «Красным не помогал катера чинить, а вам, скотам, и подавно. Сволочи, скоро придут войска, будете бежать. Сами скоро поедете к Сталину на Урал, заводы, города строить».

* – Садись, русский! Как тебя зовут? Ты инженер?

– Что ты нам врешь? Нам про тебя, Литвинов, всё рассказали. – Тот, что походил на образину, схватил Петра за шею и ударил лбом о стол.

– Не трожьте меня. Я не виноват, что вам наврали.

Скуластый, в лощенных вороных сапогах хлестнул плёткой по плечам Петра.

– Говори, русская свинья. Иначе тебе. Говори, инженер! Ты будешь на нас работать?! – кричал и грозился кулаком, гневно картавя, щеголеватый фашист.

– Что мы с ним говорим? – на ломаном славянском прорычал фриц в очках и ударил Петра Елисеевича в ухо. Пётр дал отмашку. Схватил со стола тяжелую хрустальную пепельницу и швырнул её в портрет Фюрера на стене.

– Ах ты твэрзь, русская вошь, – коренастый наотмашь с правой вдарил Петру кастетом в челюсть. Русский инженер упал на мраморный пол, двое к нему подскочили, подхватили за руки, и один со всего маху ударил два раза под дых страдальцу. Пётр обмяк, но, встав на колени, вскочил, отпрыгнул в сторону и со всей силы врезал жирному офицеру в глаз, тот обхватил голову руками и, отбегая к окну, заорал. Завязалась драка.

Пётр понял, что ему не выйти живым, но умирать не хотелось.

Мелькнула быстро мысль: «Если отобьюсь и выскочу, запрыгну в любой мотоцикл или бегом, там сто каких-то метров до моря, и вплавь в Керчь, в Крым. Боже, помоги!»

– Сволочь, да мы тебя... – кричали озверевшие немцы.

Пётр ещё сдерживал удары, уворачивался, отмахивался и вдруг изловчился, схватил со стола хороший графин и разбил о голову

старшего офицера. С того слетело бронзовое пенсне, сам он, падая, ударился о подоконник. Пётр с осколком в руке кинулся к двери, она закрыта. Он развернулся, схватился за стол и со всего маху, отбиваясь ногою от третьего, со всей силы грудью, напирая ребрами, выбил фрамуги и окно, снизу раздалась автоматная очередь. В комнату забежали два ефрейтора, и уже втроём начали избивать пленника.

Петр терял сознание, его забивали у ребристой батарее.

– Хватит, изверги, убьёте же, – откатываясь от безжалостных ударов ногами, рычал Петруха. – Вам за меня отомстят.

Но его пинали и не останавливались. На Елисеевиче не оставалось и живого места. Молодчики окатывали беднягу водой и продолжали забивать. Литвинов уже не мог дышать, почки, все внутренности, казалось, оторвались. Кровь, льющая изнутри, из горла, из глаза, из носа густела, мешала дышать. Ему стало тошно, густым и соленым обнесло во рту, страха не было. Петр поплыл сознанием и уже вдалеке, отделяясь душой от тела, едва понимал хруст и брань, что попал в этот раз всерьёз. Ему просто не повезло. Начал вспоминать свою жену, детей, в пылающей памяти возник отец, почивший в ледяном походе, грозный и прямой сидел он на вороном коне в бурке и махал ему, маленькому, шашкой, придерживая другой рукой высокую папаху, как будто звал:

– Иди, иди, сынок, ко мне!

Пётр выпал, отключился.

Немцы подняли сурового человека, втроём вынесли его со второго этажа. Выволокли Петра под ручки через двор, за царскую

ограду, и бросили в крапиву придорожной канавы.

Бабы, проходившие мимо, взревели, бросили узлы и кинулись к нему, причитая. Но автоматная очередь поверху сосен, по кипарисовым мохнатым ветвям остановила анапчанок. Женщины отошли в сторонку, две из них сделали вид, будто уходят по своим делам.

Фрицы ушли в здание ГЕСТА-ПО. Через минуту зазвучала немецкая гармошка. Вооруженный Ганс заходил у ворот, шуршал листьями клёна. Оловянными глазами поглядывая в сторону шушукующихся женщин.

– Пошлите, девчата, заберём его. Петя, Петенька, ты жив? – Женщины втроем подошли, наклонились к избитому земляку. Он не дышал.

– Майка, беги, зови доктора. Она там, через дом, должна быть дома.

– Девочки, найдите где-нибудь тележку, – скомандовала Марием Исакидис.

Угольную тележку привезли через пять минут, подобрали у магазина. Пока Петру вытирали платками лицо, пришла Вера Александровна Антонова, местный врач, оглянулась по сторонам, опасаясь безразличного немца в серой форме. Шнапс проявлялся на его красном лице, и теперь он покачивался, ходил вповалку, гримасничал и бранился.

Врач нащупала пульс, жизнь ещё теплилась. Его отвезли в хату к брату. Через неделю Пётр очнулся. Через две после происшедшей битвы начал двигаться, ходить по саду, срывал виноград, шамкал его беззубым ртом и целиком, кашницей глотал.

«Хорошо, что выжил, – думал

Петро. – Мы ещё станцуем вальс с тобою у морского прибойя...»

Прошёл месяц, стоял солнечный день сентября, когда обычно легкий морской ветерок срывает тяжелый лист и собирает под ногами хрустящие коврики. Солнце уже не такое горячее, а тлеет, томит и приятно согревает плоть. Под вечер в саду пахнет грушей и душистым жасмином. Изабелла наливается зрелостью, последней силой, и падает грецкий орех. Когда обычная жизнь волнует исподволь, радуется плодами на ветвях и тихим вальсом, медленно уходит в багряную осень, и до моря рукой подать.

– Слава, помоги мне сходить к морю. Я хочу посмотреть то место, где мы с тобой в детстве всегда купались. Помнишь?

– Да, братец, сейчас накинем тебе дедову шкуру и пойдём.

– Славик, возьми ещё таранку, что-то рыбки захотелось.

Брат сходил в хату, снял в сенках старый потертый верблюжий чапан и вязанку сушеной рыбы. Вышел к сидящему на залавке у выцветшей клумбы пахучего дубка и оранжевых бархатцев к читающему в затертом переплёте Новый Завет Петру. Надел ему на плечи синий в зелёную полоску крымский халат. Петр Елисеевич медленно встал, опираясь на струганный посох из инжира, оглядывая печальными, полными слез глазами яблоневоый сад. Взглянул на саман, на покрытый камышом ещё с первых поселенцев верх крыши, вздохнул на берёзку, на ней он заметил почерневший от многих лет скворечник, накренившийся от одиночества и тоски, что давно не живут в нём скворцы..

Братья медленно побрели к синему морю. Жили они недалеко.

Спустились по высохшему ручью, сквозь орешник подошли к камышам, юркнула из-под ноги мышь, а по лужице прошмыгнул уж. И вот оно – вечное море, пахнуло солью и теплом, тишью безоблачного детства, ушедшей казачьей Атлантидой, колыхнуло памятью вечерних прогулок с гостившим у отца русским писателем.

Всё крутилось в уме Петра, как бы получше статейку закончить для эмигрантов в журнал Посев: «...Не задрожали бы Бунина струны в нашей литературе, не зазвучала бы душевной песней казачья станица Шолохова, не почувствовали бы мы, может, тогда православной отеческой опоры, заросли бы бурьяном родники и корневища Святой... – Нет, лучше напишу: – седой Руси. Опять что-то всё не то, вздор провинциала, пафосное, война идёт. Лучше закончу: «...утеряли бы мы тогда народные истоки, осознанное чувство православной опоры отечества, заросли бы чертополохом родники и корневища седой Руси, померкли бы в наших сердцах тропинки к заветам духоносных хранителей чистой спасительной веры русского народа...»

– Как мы давно не купались, Славик. Ах, как же хорошо жить, ты не представляешь, когда я ездил в командировки в Ростов в тридцатых по строительству мостов, – помнишь, вспоминал наше беззаботное детство, когда ещё живо было Бурсаково племя. А Екатеринодаром командовал незабвенный, всеми любимый Наказной Атаман генерал от Инфантерии Бабыч. Духовой оркестр на площади играл, запах букета фиалок на её ангельском плече.

– Да, Петя, сожрали нас те, что приходили воевать в окаянные

года, не дали пожить нам ни красные, ни красноармейцы – чекисты поганые. Да что мы, страну жаль.

– Кончилась Россия. Мы стали никем, ничего уже не имеет значения.

– Тебе сильно больно?

– Да как тебе сказать. Скажи, ты хотел уехать тогда февралём двадцатого года с Деникиным или с Врангелем в ноябре, по благословению святого Антония Храповицкого? Помнишь, на сходе в Екатеринодаре мы ещё с тобой в силах были?! А, хотел или нет?

– Да, может быть, но ты знаешь ведь мать, она кресты стариков не бросит. Да и мой заводик. Кто знал, что нас по миру шмотиковы пустят. Думали, проиграются и хорош, казаки разгонят ломовых. Да, и не думали мы, что навсегда эти чернявые музыку закрутят, усядутся, вгрызутся. Бациллы.

– И я не хотел. Не смог бы я у предателей в эмиграции, люблю я нашу Анапу, развалины, землю свою. Курганы мне шепчут с детских давних лет о любви ко мне, к родителям, когда я землю обнимаю и лежу на ней грудью в саду или вот здесь на песочке, она со мной говорит. Как же я её оставлю, на кого променяю мою юдоль!? Не выдюжу без наших луковиц Христовых, без звона колоколов, без хлопчиков-казаков. Не увидеть там лошадок милых, степей раздольных. Да и сад дедов виноградный как я могу оставить?

– Вот и пришли. Ах, чайки. Сколько голубей! Гуль, гуль, гули. Живу боле полувека, всегда поражался красоте голубчиков, их дружбе, завсегда они стайкой.

Пётр достал из кармана горсть оставшихся с весны семечек и сыпнул на песок. Белые крылышки, сизари, худышки серенькие с

умными глазками слетелись поклевать, заурчали.

Он тростью что-то ворошил под копной засохшей морской пакли. Ракушка. Муравей. Взмахнула над ним чайка крылом.

Петр взглянул вдаль, в Таврию, вспомнил Лермонтова, искал парус, вглядывался в сторону Крыма, искал в памяти её – свою милую барышню, помнил её родные, иконные, добрые глаза, как у Богоматери.

Вдруг в левом боку что-то дёрнуло. Ум заволокло. Появились в цветах мать, отец, сидящий на взгорье, верхом на орловце в мохнатой папахе, суровый.

Пётр рухнул в набегающую волну.

– Петя, братик, вставай, – кинулся к нему Слава.

Поднял и вытащил Петра на берег. Пётр молчал и едва улыбался по-детски, как прежде, и лицо его светилось красотой, покойной свободой. Вся жизнь пролетела у Славы в уме. – Брат, мой брат.

Положил Петра на свои колени и обнял родимую кровинушку, прижался к его груди головой и заплакал, зарыдал.

Закрыл Петру милые зенницы.

И долго сидели два брата, до захода угрюмого солнца.

Почил раб Божий Петр в свои пятьдесят семь лет.

Не сдался.

Хоронили его всей Анапой. Съехались евреи, греки, казаки, бабы рыдали русские. Дети Петра воевали, сам он уносил с собой старую, древнюю Кубань. С ним уходил ответ Царской России.

